— Что это они так резво? — усмехнулся лейтенант Ельчук, наблюдая за тем, как от подъезда дома, где жил третий секретарь американского посольства, стремительно отъехали — одна за другой, по разным направлениям — четыре машины сотрудников ЦРУ, работавших в Москве, понятно, под дипломатическим прикрытием.

— Такой фокус они исполняют второй раз, — задумчиво заметил Гречаев, неторопливо пристегиваясь ремнями безопасности. Судя по всему, гонка предстояла отнюдь не простая, с трюками. — Первый раз это было в эпизоде, когда они прикрывали Трианона...

По рации Гречаеву пришел приказ наблюдать за машиной вице-консула Саймонза; рванули следом, затерявшись в тесном потоке машин.

Полковник Груздев, дежуривший в ту ночь по *центру*, приказал также проверить, куда отправились все «дипломаты»: второй секретарь посольства Шернер, пресс-атташе Лайбл и представитель военной миссии Честер Воршоу.

Сотрудники ЦРУ гнали по московским улицам, *крутили*, как хотели, город знали отменно, — профессионалы высокого класса, молодцы, ничего не скажешь, асы.

Возле станции «Университет» Честер Воршоу бросил машину под знаком, запрещавшим парковку, и стреми-

тельно побежал ко входу в метро; в свою очередь, Шернер резко затормозил возле телефона-автомата на Трубной, неподалеку от ресторана «Узбекистан», снял трубку и быстро набрал номер; дождавшись, видимо, ответа, нервно нажал пальцем на рычаг и набрал номер еще раз, тщательно прикрывая спиною диск.

Лайбл нигде не останавливался, хотя крутил по городу больше остальных; вернулся в посольство, оттуда — через два часа — отправился домой. А Честер Воршоу на Старом Арбате, возле того места, где ранее был антикварный магазин, позвонил из автомата ровно через две минуты после того, как кончил звонить Шернер.

...На этом операция ЦРУ закончилась.

Необходимый экскурс в историю

В последние дни своего президентства генерал Дуайт Эйзенхауэр отчего-то чаще всего вспоминал тот час, когда войска союзников под его командованием высадились во Франции; он даже отчетливо ощущал йодистый запах водорослей, выброшенных тугим, медленным прибоем на серый песок побережья, слышал пронзительный крик чаек (вот уж воистину вопиют души утонувших моряков) и представил глаза раненого мальчика: в них были слезы боли и счастья. Подняв слабеющую руку, ребенок растопырил указательный и безымянный пальцы — «виктори», первая буква заветного слова, вобравшего в себя надежду человечества...

Чем больше проходило лет с того майского дня, когда он, Монтгомери и Жуков встретились как победители, тем порою — особенно когда оставался один (а это случалось редко) — горше ему становилось; утраченные иллюзии послевоенного *взаимопонимания* союзников, новое противостояние, которое каждую секунду может

перерасти в вооруженное противоборство, а это ему, военному человеку, знавшему войну не понаслышке, казалось совершенно чудовищным.

Согласившись выдвинуть свою кандидатуру на выборах, он не мог представить, как трудно придется ему в Белом доме, сколь постоянным, изматывающим и *тяжелым* будет давление военных и тех групп промышленников, которые получали заказы Пентагона; люди не сумели (а может, не захотели) перестроиться после мая сорок пятого; средства, вложенные ими в заводы, ковавшие оружие для победы над нацизмом, и поныне алчуще требовали продолжения ежедневного дела, ставшего привычным для миллионов рабочих: выпуска самолетов, танков, электроники. Любой резкий поворот неминуемо грозил безработицей, ростом инфляции, новой черной пятницей на бирже.

Эйзенхауэр помнил, как летом сорок шестого года русские пригласили его в Москву, и он стоял на кремлевской трибуне, когда по Красной площади шел парад физкультурников, и переводчик, склонившись к его уху, негромко заметил, что каждый второй участник шествия потерял на фронте отца или брата...

Нелегко и далеко не сразу он решился на осторожный поворот курса: от открытой конфронтации с коммунизмом, которая началась сразу же после смерти Рузвельта, к встрече за столом переговоров; в конечном счете Хрущев — тоже генерал, потерял на фронте сына, войну знал, как и он, Айк, не по книгам или кинофильмам.

После того как переговоры на уровне послов увенчались относительным успехом, состоялась встреча в Женеве и было решено организовать конференцию глав четырех держав-победительниц в Париже, Эйзенхауэр вызвал директора ЦРУ Даллеса и попросил его прекра-

тить все полеты самолетов-разведчиков У-2 над Советским Союзом.

Вообще-то, он с самого начала довольно скептически относился к этой затее, которая стоила стране тридцать пять миллионов долларов; он никогда не мог забыть, как Даллес, холодно поблескивая узенькими стеклами очков, убеждал его, что в случае непредвиденных обстоятельств самолет рассыплется, исчезнет, превратится в пыль...

— А пилот? — спросил Эйзенхауэр.

— Погибнет, — ответил Даллес. — Все продумано, он тоже исчезнет.

— Но это невозможно! — с трудно скрываемой неприязнью посмотрел он на Даллеса. — Это безжалостно и лишено какой-либо нравственности.

— Мистер президент, — ответил Даллес тихим голосом, — молодые пилоты Центрального разведывательного управления идут на дело с открытыми глазами. С одной стороны, это высокий патриотизм, свойственный людям нашей страны, с другой — если смотреть правде в глаза — бравада отчаянных головорезов, готовых на все... И потом, мы им очень много платим... В случае трагического исхода их семьи не будут знать забот — полнейшая материальная обеспеченность... Но это крайний случай, мистер президент. Русские не достанут наши У-2, у них нет таких ракет, уверяю вас, риск совершенно минимален...

...Вскоре после того, как газеты напечатали сообщение о точной дате встречи «большой четверки» в Париже, рано утром, что-то около шести (первое, что Эйзенхауэр заметил, когда его разбудили, был косой, какой-то осенний дождь за окном, хотя в эту пору здесь, в Вашингтоне, всегда давила влажная жара), помощник сообщил ему, что с военной базы Адана, в Турции, исчез самолет ЦРУ У-2.

— То есть как это так — «исчез»? — удивился Эйзенхауэр. — Его похитили?

— Нет. Он вылетел, но связь с ним вскоре прервалась...

— В каком направлении вылетел У-2? — спросил Эйзенхауэр, одеваясь. — Запросите маршрут. Полагаю, он не взял курс на Россию?

— Нет, — ответил помощник, — из Лэнгли сообщили, что самолет отправился в направлении Ирана и Афганистана...

— Слава богу, — заметил президент. — Хорошо, что вы меня разбудили, сейчас я приду в Овальный зал...

...Когда стало известно, что У-2 сбит над Свердловском, Эйзенхауэр горько усмехнулся:

— Что ж, можно считать, что встреча в верхах расстреляна... Кому это на пользу? Нам? Вряд ли...

Он помнил, как Даллес, вызванный им в Белый дом, предложил взять на себя всю ответственность и выйти в отставку...

Эйзенхауэр сухо заметил:

— Подписав вашу отставку, я таким образом публично признаю, что в этой стране правит не народ, избирающий своего президента, а Лэнгли, самовольно определяющая политику Соединенных Штатов... К сожалению, я не могу принять вашу жертву, Аллен... В данном случае вы принудили меня пожертвовать своим честным солдатским именем — во имя престижа этой страны...

Эйзенхауэр никогда не мог забыть долгое совещание в Белом доме накануне вылета в Париж, после того как Кремль потребовал от президента — в качестве необходимого шага перед началом переговоров, — официального извинения за случившееся: самолеты-разведчики совершают такого рода маршруты над территорией другого государства лишь накануне запланированной агрессии;

с такого рода утверждением было трудно спорить; как генерал, планировавший высадку союзников в Нормандии, Эйзенхауэр понимал справедливость русского требования, но как президент великой державы он прежде всего был обязан думать о протоколе, который вобрал в себя — в данном конкретном случае — вопрос престижа Америки...

Он помнил, как вошел в зал заседаний «большой четверки»; Эйзенхауэр полагал, что, обменявшись с русским лидером взглядами, первым подойдет к нему и протянет руку; это вполне можно толковать как некую форму извинения; он увидел лица русских министров Громыко и Малиновского, которые смотрели на него ожидающе, и в их глазах угадывалось *подталкивающее* доброжелательство; Хрущев, однако, сидел насупившись, головы не поднял, на Эйзенхауэра даже не взглянул; все попытки де Голля найти компромисс к успеху не привели, встреча в верхах закончилась, не начавшись...

Вернувшись в Вашингтон, Эйзенхауэр ощутил тяжелую усталость и впервые подумал о возрасте: болело под левой лопаткой и ломило колени.

Он попросил помощника выяснить, кто же по-настоящему стоял за *расстрелом* совещания «большой четверки»; да, понятно, Даллес; но ведь он лишь исполняет задуманное, получает рекомендации, не зафиксированные ни одним документом, и лишь затем проводит их в жизнь.

Конечно же, всю правду ему так и не дано было узнать, однако какую-то информацию он получил, и вот сейчас, накануне ухода из Белого дома, все чаще и чаще вспоминая тот день, когда его солдаты высадились в Европе, и пронзительно кричали чайки, и пахло йодистыми водорослями, что лежали на сером песчаном берегу, Эйзенхауэр, неторопливо расхаживая по кабинету,

начал диктовать черновик речи — прощание с нацией, некое политическое завещание президента.

— Мы не можем не признаться самим себе в том, что в стране сложилась качественно новая сила, — глухо говорил Эйзенхауэр, то и дело поглядывая на красную лампочку индикатора в диктофоне, — которую я определяю как военно-промышленный комплекс. Эта незримая, нацеленная сила, которая лишена дара исторической перспективы, служит своим сиюминутным интересам и совершенно не думает о том, к чему она может привести не только Америку, но и все человечество, если ее концепция возобладает в этой стране...

Темп-II

Генерал вернулся на площадь Дзержинского с совещания в Кремле достаточно поздно; полковник Груздев дожидался его в приемной, молча протянул красную папку с грифом «Сов. секретно».

Генерал внимательно просмотрел информацию; среди ста двадцати телефонов, по которым могли звонить разведчики ЦРУ (справку уже подготовили, все вероятности были просчитаны на компьютерах), подчеркнул две фамилии, одну из них дважды: профессор Иванов, ведущий специалист по ракетной технике. Основания для этого были: в Кремле только что сообщили, что американская сторона выразила согласие продолжить прерванные — отнюдь не по вине Советского Союза — переговоры об ограничении стратегических вооружений в Женеве.

...Ночью, через восемь часов после *разъезда* разведчиков ЦРУ по Москве, был зафиксирован выход в эфир передачи Мюнхенского разведцентра; расшифровке, ясное дело, не поддавался.

Утром генерал вызвал Груздева.

— Я вам нужен, товарищ генерал? — спросил тот, входя в кабинет.

Генерал, усмехнувшись, переспросил:

— «Я вам нужен»? — Вопрос таил в себе некую безысходность семейной трагедии. — Где Славин? Если вас не обременит моя просьба, поищите его, он мне очень нужен: вопрос с профессором Ивановым я намерен поручить ему. Сегодня же...

Не надо плакать в море

Ирина Прохорова, подруга Славина, нежданно-негаданно получила отгул, полторы недели, и вылетела в Пицунду, к Алябрику, в пансионат «Апсны».

Каждое утро она спускалась на пляж, к самой кромке зеленого, прозрачного моря, и лежала не двигаясь, ощущая, как солнце стягивало кожу; она никогда не обгорала, могла жариться весь день, загар был шоколадный, ровный. «Ты мой гогеновский человечек, — шутил Славин, — нежность моя...»

Первые дни она сразу же засыпала под монотонный, убаюкивающий плеск моря, — работать приходилось с «захлестом», особенно в связи с диссертацией; потом стала брать с собою книгу: почему-то решила учить итальянский; очень понравилось, как там произносят «прего» — «пожалуйста». Славин заметил: «Ты живешь деталью; это опасно, рискуешь пропустить главное».

На четвертый день рядом с нею устроилась супружеская пара с маленькой девочкой: поджарый молчаливый мужчина и женщина с красивой седой головой; Ирина краешком глаза наблюдала, как та делала гимнастику, очень утомительную, не менее часа. «Вот молодец, наверняка не менее сорока, а как прекрасно сохранилась,

великолепная фигура, а дочурке года два. Роды никак на нее не повлияли, не позволила себе расплыться — трагедия многих женщин...»

После гимнастики женщина долго плавала вдоль берега, а потом начинала играть с девочкой, бросая ей большой гуттаперчевый мяч; та визжала от счастья, гонялась за мячом по пляжу; однажды споткнулась об Ирину, упала на нее; обняв мягкое, податливое тельце — лопаточки словно крылышки, — Ирина ощутила совершенно особый запах младенцев: молоко и цветочное мыло; сладость какая...

— Как зовут вашу доченьку? — спросила Ирина, подняв маленькую над собою.

— Это внучка, — улыбнулась моложавая седая женщина. — Машенька.

Ирина поцеловала девчушку, с трудом выпустила ее из рук — такая доверчивая нежность — и вдруг подумала: «А ведь я моложе этой бабушки всего на шесть лет. Ну, на семь, от силы... А у меня нет такого маленького, нежного чуда... И, судя по всему, не предвидится...»

...Последние слова показались ей до того ужасными, что она резко поднялась с лежака и бросилась в море; плавала профессионально, когда-то выступала по первому разряду; отмахав кролем метров двести, перевернулась на спину: «Только еще не хватало в море реветь...»

Всякое расставание — это немножечко смерть…

— Значит, теперь можете угощать только пивом? — усмехнулся Славин. — Дом литераторов тоже включился во всенародную борьбу за трезвость?

— Еще как, — ответил Степанов. — И литераторы тоже. Только по-разному. Плакальщики начали пуще

прежнего стенать, что пианство на Руси пошло от Петра, отдал, мол, на поругание чужеземцам святыни, до него все, как один, были трезвенники. «Веселие на Руси есть пити» — от лукавого, фальсификаторов истории, чужеродный заговор против нации. Ну, а те, кого величают авторами «деловых идей», вновь бросились в атаку на нашу бюрократическую неподвижность: пьянство можно по-настоящему победить только в том случае, когда бутылке будет противуположена реальная альтернатива *дела*; не только сок вместо проклятой бормотухи, но возможность *легко* получить садовый участок, взять ссуду в банке под приобретение мебели, подписаться на собрание сочинений того писателя, который по душе тебе, а не директивно объявлен «выдающимся», купить в рассрочку машину, легче и проще собрать кучу бумажек на поездку в Болгарию или в Берлин, — пропади все пропадом, когда подумаешь о той волоките, которая ждет, если решил оформиться для путешествия... «Величавость порядка»? Нет, Виталя, это гимн обломовщине! Она весьма и весьма маскируема, незаметно гребет под себя параграфы наших новых законоположений, превращая их не в рычаг, стимулирующий действие, а в традиционную волокиту... Думский дьяк не в Бруклине рожден, а, увы, у нас, в первопрестольной... «Думский», «дума», «подумаем»... Горазды мы на раздумья, когда-то делать начнем?! Смотрел прошлогодний чемпионат футбольных юниоров, когда мы продули?

— Нет.

— Жаль... У меня сердце болело за наших ребят... Но ведь им поставили задачу: все делать наверняка, *вносить* мяч в чужие ворота; вратарю удар не отбивать, но обязательно ловить мяч, — вот и не было игры; нечто вроде квартального аврала на заводе, когда надо *отдать* план. Плохо это... Убивает дух инициативы, соревнование, вы-

явление самости игрока... Нельзя планировать футбольное состязание как работу на конвейере; определил стратегию, подготовил команду — и вперед! И в хозяйстве у нас так же: думаем, мудрим, планируем, как довести проект до абсолюта, а вот *поступать* боимся, оглядываемся, ждем указания, чтоб потом было на кого свалить... Жизнь — процесс саморегулируемый, а мы хотим втиснуть ее в прокрустово ложе заданной заранее схемы — пусть даже очень точной... Не получится, утопия...

— Ты чего такой злой?

— Не видел ты меня злым. Я озабоченный, Виталя.

— Чем?

— Тем, что на словах все принимают то новое, что мы наметили, а на деле сплошь и рядом особой активности не очень-то проявляют, по старинке жить удобней, вечный кайф...

— Факты? — Славин пожал плечами, повторив: — Факты?

— Это я у тебя должен про факты спрашивать. Ты контрразведка, мыслишь определенными категориями, слухи отводишь и правильно делаешь, до добра не доведут, а я литератор, я кожей чувствую... Между прочим, — он улыбнулся, — мне в Афганистане друзья объяснили, отчего самые вкусные вещи — плов, фрукты, мясо — надо есть руками... Оказывается, именно в кончиках пальцев у нас находятся точки наслаждения. Не смейся, это факт, а не версия, спроси у докторов... Облизывание точек наслаждения угодно нервной системе, некий массаж тех центров, которые регулируют человечье настроение...

— Представляешь, — вздохнул Славин, — если бы мы в ресторанах укрепили таблички: «Товарищ, не забудь облизать кончики пальцев!» Американцы во всех офисах расставили таблички: «Улыбайся!» Ну что ж,